

Владимир БЕРЕЗИН / Василь БЫКОВ / Георгий ВЛАДИМОВ / Андрей ВОЛОС /
Александр КАБАКОВ / Михаил КУРАЕВ / Виктор СОСНОРА / Антон УТКИН

Литература и война

Литература и война

Недавно на вопрос, заданный позвонившим в редакцию представителем одного из издательств: “Назовите какого-нибудь писателя, молодого или средних лет, пишущего о Великой Отечественной”, — мы не смогли ничего ответить. Нет сейчас писателя моложе 60 лет, который писал бы о той войне. Но и о других войнах, пережитых или переживаемых нами, — афганской, карабахской, абхазской, приднестровской, таджикской, чеченских — тоже пишут всего лишь несколько авторов (массовая литература сейчас не имеется в виду).

Военная тема всегда была значима для русской литературы — и не в силу ее, литературы, особой воинственности, а как раз наоборот: потому что помогала понять природу человека, выявить силы добра, могущие противостоять злу. Чем объяснить теперешнее положение? Возможно, тем, что “молодые” — то есть родившиеся после Великой Отечественной — пренебрегают примером Льва Толстого и не хотят писать о том, чего не видели, а личного военного опыта (который у Толстого все же был) почти ни у кого из них нет. Может быть, то, что все еще, из-за закрытости и неизученности архивов, мы знаем о войне 1941—1945 годов в лучшем случае половину правды и, в свою очередь, “заезженность” последующих войн в публицистике и СМИ отвращают серьезных писателей. Вероятно, имеет значение и то, что время теперь в общественном сознании — несмотря ни на что — все же считается мирным и выдвигающим на первый план проблемы бытового обустройства.

Во всяком случае, события последних лет подтверждают, что из жизни военная тема исчезнет не скоро. И неужели же огромный трагический мир войны стал совсем неинтересен русской литературе?

Мы попросили ответить на этот вопрос прозаиков и поэтов разных поколений.

Владимир Березин

Проза времен всеобщей воинской обязанности

Когда говорят о военной теме в современной русской литературе, то практически всегда сравнивают время, зажатое между 1941 и 1945 годами, и время нынешнее, сравнивают времена и романы.

И, отвечая на часто задаваемый вопрос, почему современная война не отображена в художественных текстах, дают несколько очевидных ответов.

Первый ответ связан с тем, что военные впечатления у многих участников боевых действий не успели улечься. После боя можно писать рапорты. Рассказы после него писать удается немногим.

Но мы воюем давно. Не считая необъявленных войн в Африке и Азии, куда ездили воевать не будущие писатели, а военные-профессионалы. Не считая того, что уже больше двадцати лет минуло со времени начала афганской войны. Давно надломился мир в Карабахе. Воюют в Таджикистане. *Антитеррористическая операция* в Чечне уже совершенно справедливо называется “второй войной”.

И литература появляется. Я помню, каким открытием для меня были ранние тексты Ермакова и нескольких других моих сверстников.

Другое дело, что этой литературы мало. Что связано и со вторым обстоятельством — связано с тем, что в отличие от послевоенного времени у участника или наблюдателя военных событий есть возможность выговориться не в литературе, а в журналистике.

Очерк, документальная или псевдодокументальная книга оперативнее, они быстро находят читателя или, что многим еще важнее, — издателя. Возник новый формат записок — репортажный. И репортажных рассказов о войне — уже множество. Написанных очевидцами и написанных со слов очевидцев.

Я читал довольно много таких текстов — большинство из них написано в стилистике невзоровского фильма “Чистилище”. Причем под многими резонерскими выводами героев этих рассказов и повестей я могу подписаться. Сводит скулы от неграмотных приказов, от привычки некоторых реальных командиров затыкать дыры живой человечины. От того, что слаженность и взаимодействие в бою заменяются извечным приказом помирать за Родину.

А помирать за Родину как раз не надо. За Родину надо жить, надо выполнить задачу, а умирать за нее, если придется — без административного восторга и сопливой радости. Я говорю это скорбно, потому что машина массовой культуры смазывается кровью и работает споро и безостановочно. Я говорю это так, потому что мне больно за каждого человека, помирающего за мою страну. Ну там и колокол, который звонит по мне и тебе, и прочая риторика.

Но вернусь к взявшим ручку или клавиатуру вместо автомата.

Надо сказать, что тут возникает давний спор о военной литературе — возможно ли написать хорошую книгу о войне, не побывав *там*. Ответа на этот вопрос нет. И потому, что непонятно — что значит “побывав”, и потому, конечно, что непонятно, что значит — “хорошая книга”.

Один из текстов, который я видел, так и называется — “Я был на этой войне”. То есть название напрямую указывало главное свойство этого явления — повышенную ценность реальности автора для читателя. Текст, о котором идет речь, был полон неточностей, фактических ошибок и передержек. Я даже принимал участие в его обсуждении, сам что-то лопотал о том, что не стреляют из РПГ-7 в подъездах и танки не весят по шестьдесят тонн. И я, и мои старые друзья начали сомневаться — не врет ли автор о своем участии в происходивших событиях. Говорили потом, что вроде бы он был, да не там, но не в этом дело, да я и не знаю ничего достоверного об этом.

Дело не в технических ошибках и не в политических прокламациях, которыми этот и другие тексты изобилуют. А в том, что это и другие подобные сочинения не становятся автоматически литературой. Очевидно, что присутствие в боевых порядках армии не является индульгенцией на художественную несостоятельность.

Как и позиция отстраненного наблюдателя не приводит к взвешенному и тонкому пониманию трагедии.

Личное участие в войне само по себе становится только фактором корпоративного уважения. Сродни тому, когда встречаются однополчане, и льется рекой горькая водка на помин товарищей. Тем более, видел я много начальников бестолковых и лишних на войне людей. Много людей случайных, по недоразумению носивших на плечах погоны. Форма уравнивает всех — и их, и чернорабочих войны — солдат и офицеров, что честно, а главное, умело выполняют свой долг.

Третий фактор, влияющий на продолжение боевых действий на книжных страницах, — это массовая литература, о которой я довольно много пишу.

И нельзя сказать, что все остросюжетные романы, издающиеся в массовых сериях, безнадежны. Среди них внезапно обнаруживается добротная проза. Только спрос массовой культуры подталкивает пишущего человека именно к этому — к интонации бульварной газеты и фальшивой крови на броне. Собственно, непревзойденный пока “Момент истины” Богомолова — фактически военный детектив, притом ставший большой литературой.

Причем мало кто вспоминает о том, что есть еще люди в тех государствах, что возникли на месте СССР и вели войну друг с другом, есть люди, в которых копится желание перенести свой опыт на бумагу.

Армии этих стран, наследницы Советской Армии, похожи, одинаковы вооружения, и граждане этих стран уже успели поубивать друг друга.

Я говорю о том, что мне тяжело даже представить то, что могли бы написать таджики и молдаване, армяне и азербайджанцы, грузины и абхазы — этих текстов я не знаю.

И в этой неполноте есть особая для меня горечь.

Ну и, наконец, помимо этих понятных, лежащих на поверхности суждений, есть еще одно обстоятельство. Может, оно и не заметно сразу, но роль его не меньшая. Та проза об Отечественной войне, которую мы ценим, писалась в обществе, безоговорочно признававшем справедливость войны. Эту литературу писали люди, призванные не среди миллионов, а среди десятков миллионов своих сограждан на военную службу. Сейчас общество неоднородно, призыв избирателен — нарушается своего рода принцип Кубертена для военной литературы. Кубертен говорил, что для наличия одного олимпийского чемпиона в его стране должно существовать десять спортсменов такого же класса, еще сто — соревнующихся за первые места, ну и сто тысяч физкультурников. Я могу ошибаться в цифрах, но смысл передаю верно.

Литература Отечественной войны по сути была литературой большой отечественной беды, в которой — и литературе и беде — участвовали все. “Лейтенантская проза” была по сути прозой людей, которые стали этими лейтенантами не по своей воле, а так — волею большой народной беды. Назвать роман того времени типа “Я был там” фронтовику далекой войны было невозможно.

Все были.

И мы до сих пор не знаем, что было бы, если бы не убили того или этого. Тысячи потенциальных писателей остались лежать в русских, польских, венгерских и немецких полях.

А теперь ситуация иная. Нет, слава Богу, поголовной мобилизации. Всеобщая воинская обязанность оказывается на поверку вовсе не всеобщей. Эта невсеобщность, кстати, закреплена в Конституции. И, опять же, ничего особенно страшного в этом нет.

Сейчас иначе по сравнению со второй половиной сороковых годов читаются книги (или иначе не читаются). Происходит смещение общественного интереса к тележурналистике, которая дает обществу то, чего оно, это общество, просит, — причастность к войне на безопасном расстоянии.

Война входит в каждый дом не кинохроникой, а прямым эфиром, гаубичными разрывами на цветном экране японского телевизора.

Поэтому у нас сейчас другая литература. Но тем выше будет ценность тех текстов, которые будут созданы не в общем движении, а как бы наперекор общественному спросу.

Василь Быков

Полнота правды

Мне думается, дело здесь прежде всего в определенной заторможенности общественного сознания — явлении, свойственном всякому обществу, а нашему (советскому, постсоветскому) тем более. По-видимому, требуется определенное время, чтобы человеческий разум мог отойти от пропагандистского угара, своего рода психологического шока, обычного для настроения общества с началом всякой (справедливой, несправедливой, оборонительной или захватнической) войны. Такая передышка необходима для трезвого осмысления драматического военного опыта, равно как и собственного, авторского отношения к нему.

Как показывает опыт нашей (и не только нашей) военной литературы, значительные вещи о войнах создавались по прошествии времени, когда у авторов и общества остывали эмоции и прояснялось в головах. Когда в силу объективных причин происходила неизбежная переоценка прежних, нередко эфемерных ценностей, и в сознании потенциальных авторов в какой-то мере созревало чувство пацифизма, рожденного предыдущим опытом воевавших поколений.

В окопах все патриоты и так или иначе вынуждены убивать себе подобных хотя бы ради сохранения собственной жизни. Иные делают это с истинно патриотическим энтузиазмом, другие невольно; редко у кого появляется желание и возможность уклониться от смертоубийства. Даже по прошествии времени не многие решаются признаться в кажущейся или явной неблаговидности собственных поступков. Участник второй мировой войны и великий гуманист XX века Генрих Бель отважился на признание о собственной симуляции на фронте с целью уклонения от боя и эвакуации в тыл. Но много ли нам известно о подобных случаях из нашей военной литературы, хотя и в Красной армии попытки такого рода были вовсе не редкостью. При всех прочих несомненных ценностях ценность собственной жизни все-таки была и остается превыше всего.

Неполная правда и прямая ложь о войне на протяжении многих лет принижала смысл и значение нашей военной (или антивоенной, как иногда говорят) литературы. Равно как и явный перебор ходульного героизма всех видов.

Вся полнота правды жизни на войне была невозможна для литературы недавнего прошлого, думается, невозможна она и теперь. И дело здесь не только в цензуре или догматике соцреализма, несомненно угнетавших литературу все годы советской власти, но и в определенном характере советского общественного сознания, выработавшего и поныне устойчивое пристрастие не к правде войны, а к удобным и красивым мифам о ней. Одним из таких излюбленных мифов был бессмертный миф о передовой роли партии, подвигах комиссаров и политруков, к которым затем были причислены и чекисты-“смершевцы”. Эти и подобные мифы устраивали всех, в том числе и читателей-фронтовиков, личный опыт которых, разумеется, вступал в противоречие с бумажной красотой героев, но, как правило, выводился за скобки, пока вовсе не отмер в ослабевшем сознании. Правда о войне в глазах общества становилась невыгодной, малопристойной, а то и аморальной. Малейшее превышение ее общепринятых стандартов рассматривалось как посягательство на святая святых — борьбу за свободу и независимость советской родины.

Здесь следует оговориться.

Как известно, время — червяк истории, оно незаметно и усердно делает свое дело. Усилиями некоторых из авторов военной литературы, — не только талантливых, но и в некотором смысле самоотверженных, — значительная доля правды так или иначе реализовалась в их, как правило, многострадальных книгах. В общем это можно понять, если учесть, что их право на правду было завоевано не только в редакторских кабинетах, но прежде всего в окопах кровавой войны. А как писал великий американец Э. Хемингуэй, “писать правду о войне очень опасно и очень опасно доискиваться правды... Когда человек идет на фронт искать правду, он может вместо нее найти смерть. Но если едут двенадцать, а возвращаются только двое — правда, которую они привезут с собой, будет действительно правдой”. Из сотни нашего поколения, как известно, вернулось трое, и это трагическое обстоятельство наделило их не только осознанием правды, но и моральным долгом живых перед памятью павших. Чего это стоило им в жизни и литературе, о том, похоже, уже стали забывать они сами... Не явился ли их горький опыт уроком для участников других войн, которые к тому же объективно мало кому из них сделали честь. Талантливых среди молодых нынче не меньше, чем когда-либо в прошлом, а вот незащоренности сознания и гражданской смелости в литературе вроде не прибавляется.

Впрочем, как выяснилось, XX столетие — не конец истории, история продолжается, в том числе и история литературы. Время берет свое, и вполне возможно, что новый Лев Толстой, так и не явившийся на полях той большой войны, возможно, появится на какой-нибудь из новых, которые, судя по всему, нескоро переведутся на нашей земле...

Георгий Владимов

Прошай, оружие?

Почему оскудела у нас тема военная? От этого вопроса, которым задалась редакция “Знамени” и задала своим авторам, можно бы отделаться старой шуткой: “Отчего

верблюд не ест вату? Не любит”. Только ведь сердце на этом не успокоится: а почему не любит?

Чтобы не растекаться и ввести дискуссию в предпочтительные рамки, редакция предлагает свои варианты ответа. Потому что обрыдли “заезженность” и полуправда о Великой Отечественной. Потому что отвращает молодых армейская жизнь. Потому что совесть не велит писать, не имея личного военного опыта, “который у Толстого все же был”, и т. п. На мой взгляд, ни по отдельности, ни все вместе эти ответы не открывают главной причины.

Начать с того, что никакая “заезженность” не отвратит серьезного писателя, даже напротив, побудит его высказать свое слово. Больше того, ему все предшествующее кажется — да, наверно, и должно казаться — полуправдой, иначе с какой стати ему хвататься за перо? Мало кто помнит, кажется, первую нашу военную повесть, чуть не июля 1941-го, — “Алексей Куликов, боец” Бориса Горбатова. Или “Два бойца” Льва Славина — это по ней сделали фильм, доньше любимый фронтовиками, с “Темной ночью” и “шаландами, полными кефали”. Вполне пристойные, без заметных умолчаний и “козьма-крючковщины”, Виктору Некрасову они, верно, все же казались полуправдой, как и многие страницы Константина Симонова, однако же и на “Окопах Сталинграда” окопная проза не задержалась, потекли книги Василия Гроссмана, Григория Бакланова, Василя Быкова, Виктора Астафьева, Вячеслава Кондратьева. И это при том, как нам катастрофически не повезло с осмыслением Великой Отечественной: то 8-летний маразм сталинщины, то хрущевская нервическая “оттепель”, то, на десерт, вальжная брежневiana, в сравнении с которой барственная нега Ильи Ильича Обломова покажется кипучей деятельностью. И разве кончилось? За попытку разобраться в истории с Власовым и РОА вас и сегодня нарекут “литературным власовцем”, а роман ваш — “апологией измены и предательства”.

Что касается личного военного опыта, этот вопрос однозначен, хотя, как всякое правило, не закрыт от исключений. Моя скромная попытка с “Генералом и его армией” была все же подкреплена и отношением к войне, как личному делу, в котором не довелось участвовать по возрасту, и побегом (не удавшимся, к сожалению) на Сталинградский фронт, и пятью годами учения в суворовском училище, где моими отцами-наставниками были только что выползшие из окопов фронтовики, и писаниями за генералов их осторожных воспоминаний, купно с их откровенными живыми рассказами, — словом, всем тем, что пришло как бы само, без специального чтения и без намерения когда-нибудь что-нибудь написать свое. Вдруг возыметь такое намерение и начать изучать войну, не имея интереса с детства, — наверно, бесполезно. Такой писатель просто не будет знать, что ему изучать. И на каждом шагу подстерегает его какая-нибудь неожиданность. Казалось мне, я неплохо знаю, что есть танк, побывал и внутри “Т-34”, и внутри немецкого (трофейного) “Т-III”. Но из танковой пушки я все же не стрелял, а это, оказывается, большая морока: после трех-четырёх выстрелов башенный стрелок уже кашляет от дыма и не видит цель. Эту подробность нам сообщил фронтовой солдат Виктор Астафьев. Казалось мне, я и пушку достаточно знаю, повидал их и послушал вблизи, но вот не знал, что “параллельный веер” из нескольких орудий можно выстроить с помощью Луны, это мне рассказал кинорежиссер Василий Ордынский, бывший артиллерист. От Григория Бакланова, тоже бывшего артиллериста, почерпнул не менее важную деталь: оказывается, снаряд не просто вкладывают в казенник, а вбивают толчком его медный поясик в нарезку; иначе снаряд не получит вращения, в полете закувыркается и не долетит куда надо. Ни в каких технических описаниях я этого не прочел. Очевидно,

изучить можно то, что подлежит правилам, но вся-то прелесть — в отступлениях от правил, иначе вашей прозе грозит превратиться в беллетризованный устав.

И тем не менее... Тем не менее одна из лучших книг о войне — “Алый знак доблести” Стивена Крейна — возникла не из личного опыта. И между прочим, у автора “Войны и мира” его тоже не было. То есть не было опыта 1812 года, был опыт Севастополя и Кавказа, а это уже другое. Ни одна война в истории не походила на другую войну — ни накалом, ни средствами убийства, ни стратегией и тактикой, ни бытом своим, ни — главное — той нематериальной субстанцией, которую Толстой называл “духом армии”. Фронтовики 40-х годов что-то не найдут общего языка с “афганцами” и “чеченцами”. Знали ли они, к примеру, такой феномен, чтоб продавались оружие, боеприпасы и амуниция — противнику? В свой черед, и внуки не поймут тех дедушек. И для современного автора давно уже они не герои романов. Статистика говорит, что не пишут о войне (о войнах) люди моложе 60-и — это как раз те, которым не выпало не только что “зажигалки” посбрасывать с крыш, но даже последить за сводками Информбюро, отметить на карте передвижения фронтов. Что же для них — ветераны? Прежде всего, наверно, не слишком привлекательное зрелище. Старые, больные, беззубые, что они еще шамкают про Ельнинский выступ и Курскую дугу? Это же все “времена очаковские и покоренья Крыма”. А подумали бы стрезва, что они отстояли своими подвигами. Ведь после этого были новые пополнения ГУЛАГа, “ждановщина” и борьба с “космополитами”, “дело врачей”. Коли допустили себя жить при своем фашизме, уж так ли ценно, что защитились от иноземного? Но тогда не понять нам Толстого, в ту пору 35-летнего, по нашим меркам *молодого писателя*, — нешто он видел других ветеранов? Таких же дряхлых и шамкающих, — ему-то почему было интересно о них писать? Наверное, потому, что есть вещи поважнее личного опыта или, по крайней мере, восполняющие его недостаток. У него было чувство истории, и значит, героизму и славу 1812 года не заслонило и не опорочило то, что было потом, не самые благодатные годы николаевской реакции. Его могучее воображение видело тех рамоликов молодыми и полными жизни. И он мог понять, что значит в 19 лет командовать батареей или ротой и принимать на себя всю ответственность за судьбу отечества. И еще он имел способность любить армию и людей армии, и значит, иметь интерес ко всем подробностям армейской жизни, даже и к тому, что “форменные есть отлички, такие выпушки, петлички”. Из всего этого и составляется писатель.

Наш молодой автор, годам к 25-и, еще ничего существенного не испытывавший, все же имеет опыт любовный и опыт армейский. Если первый более или менее успешен, то второй зачастую ужасен. Как в страшном сне, он вспоминает постылые будни казармы, униженность подчинения тупым старшинам, вдобавок — мерзость “дедовщины”, этого замечательного изобретения военных верхов, имеющего целью превратить солдата в зомби, — к чему это ведет, можно судить по Афгану или Чечне. И вся-то его защита от этих ужасов — спасительная ирония. Если поможет она отгородиться от тягостных реалий и сохранить себя как личность, и то хорошо. Худо, что ироническое отношение невольно переносится на армию 1941—1945 годов, то есть совсем другую армию, где тоже хватало мракобесия, но было же и нечто иное — по меньшей мере, то одухотворяющее начало, которое отличает только армию действующую, притом в войне справедливой. И если не интересуется писателя та война, гремевшая от Белого моря до Черного, то еще меньше кольшет его война периферийная — где-то там в Приднестровье, где-то там на Кавказе (вдали от сочинских пляжей). Разве что личное участие заставит его взяться за перо, но такие случаи единичны и не определяют литературный процесс.

При таких обстоятельствах и могли попользоваться успехом сочинения Виктора Суворова, построенные сплошь на перевертышах. Вы думаете, Гитлер напал “вероломно”? Так нет же, он только упредил неминуемый и отлично подготовленный удар Сталина. Вы полагаете, Сталин обезглавил армию “чистками” 1937-38 годов? Да ничего подобного, только укрепил ее, изгнавши опричников и бездарей. Вы почитаете Манштейна, Роммеля, Гудериана как больших полководцев? Да они мизинца не стоят нашего Опанасенко, не говоря о Рокоссовском, и вообще немцы были дураки. Ну, и так далее. Получается, что и война было не совсем Отечественная, к тому же и не Великая, ведь мы в результате ее закабалили пол-Европы. У меня сейчас нет задачи оспаривать все благоглупости, я это делал в других статьях, а сейчас скажу общее.

Никакой отдельной проблемы военной литературы не существует, она есть часть литературного процесса. И к ней вполне приложимо определение Клаузевица: “продолжение политики иными средствами”. Какова эта политика в общем литпроцессе, такова она и по поводу войны. Нынче эту политику определяет падение интереса и пристрастия к литературе социального звучания. Между тем, свою эпопею Толстой писал не на отшибе, но в эпицентре социальных страстей. Царствовали и волновали умы Гоголь, Достоевский, Тургенев, Лесков, революционная критика Герцена, Чернышевского, Писарева. Да и само происхождение “Войны и мира” мы могли бы назвать исполнением *соузаказа*, ведь замышлялся роман о декабристах, а в процессе писания обнаружилось, что, пока доберешься до Сенатской площади, не худо бы поподробнее про Бородино. Не на пустом месте возникает желание писать о войне, не из эмоций ностальгического свойства, но из той же “злости дня”, из желания объяснить жизнь сегодняшнюю, сиюминутную. Но — что же может объяснить современный автор, когда он эту жизнь не понимает напрочь? Не понимает этот наш звероватый капитализм, при котором овладела массами идея хорошей жизни, и никакая другая идея. Да и традиции подходящей нет у нас. Это когда же русская литература чтит богатых — притом подозрительно богатых? Это когда же оправдывала наживу любой ценой и опускалась до унылых банальностей, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным? И когда призывала к душевному согласию с властями, сиречь — безмолвствовать? И узаконивала правоту бессовестных, бесстыжих, демонстративно отвергших понятия чести, долга, порядочности, общего блага? И еще полбеды, что занижены критерии нравственности, но мы же постараемся, найдем этой потере оправдание. Как нам, к примеру, относиться к “новым русским”? Сказано Иосифом Бродским: “Ворюга мне милей, чем кровопийца”. По мне, так ничуть не милее, но черт их знает, может быть, те, которые что-то там “контролируют”, — то есть значит, это себе притырили и оттуда тащат, — может быть, они и выведут Россию на светлый путь — когда надоест воровать? Тут бы и утешиться, что всю Россию не разворуешь, но когда доходит до суицида, и далеко не единичного, то это и значит, что она уже разворована.

Военная тема уходит из наших писаний потому же, почему, скажем, ушла тема трагически любовная. Почему ушли доблесть, честь, самопожертвование, толстовская “скрытая теплота патриотизма”. Изгнавши из нашего обихода героическое, зачем нам еще война, где эта ущербность всего нагляднее?

И ведь никакая Маринина столько не причинит ущерба, как те короеды и древоточцы, которые под всякое падение морали подстелют базу эстетическую. В конце концов, нормальная литературная дама, пашет и жнет на своем поле и не рвется в законодатели. Тому, кто захватывает поле чужое, нужно же, чтоб выжить и прокормиться, свои писания объявить новым словом, а литературу традиционную — хламом и прахом,

который следует отрясти с ног. Прежде всего, нам хорошо объяснили, что литература нравственного сопротивления — тот же соцреализм, только с обратным знаком. Теория очень удобная, позволяющая не задумываться, во что же обходился этот “обратный знак” авторам пытливым и строптивым. Затем сказали, что слова “служение”, “долг”, “стремление к правде жизни” — мерехлюндии, которые давно следует выкинуть из лексикона. Писать “как в жизни” — это вчерашний день или прошлогодний снег, требуется что-нибудь этакое, фантазийное, полеты и кульбиты над реальностью. Поговорим, стало быть, о постмодернизме, фрейдизме, дзен-буддизме, о тайнах парапсихологических. Вообще, побаловаться хоцца, расслабиться наконец, может же быть литература просто забавой; вспомним кстати, как Гейне ее называл — “священная игрушка”. И, как та крыловская лисица, не дотянувшаяся до винограда, мы уже согласились, что литература и не должна быть властительницей умов, чему-то учить, куда-то вести читателя. Она и в самом деле для нас игрушка, только, увы, не священная. Не литература, а забава. Не смех сквозь слезы — невидимые и очень даже видимые, а зубоскальство и шутовство. Не с такими же инструментами подступаться к теме народного подвига или народной трагедии!

Принято заканчивать на оптимистической ноте, поэтому скажу, надеюсь не ошибиться, что художественное исследование Великой Отечественной еще продолжится. Самое значительное событие уходящего XX века в жизни России, она еще пошевелит умы наших внуков и побудит к новым поискам, новым выводам и решениям. Кто побывал в подольском архиве Министерства обороны, в хранилищах Белых Столбов, тот знает, сколько там этой самой “терры инкогнита”, куда не ступала нога белого человека. Оправдаемся хотя бы тем, что и в архивах немецких полным-полно материалов, не только не разобранных, но даже не распакованных.

А следом придет черед и тех войн, что уже случились и ведутся, и тех, что еще не объявлены. Ведь еще же не вечер, господа, еще воевать нам и воевать!

Андрей Волос

Честно говоря, я не люблю задаваться подобными вопросами. Зачем не пишут о войне? “Затем, что ветру и орлу...” В конце концов, и впрямь наивно, встав пред смутным ликом творческой стихии, непостижимой стихии нашей литературы, вопрошать ее, почему она в этой вот именно точке не зыблется. Да потому что она — стихия. Поди ее разбери. Сегодня не зыблется, а завтра, глядишь, зазыблется. Сегодня ни гу-гу, а зато завтра как понапишут!..

Как верно отмечают вопрошающие, сегодня мало писателей, имеющих личный военный опыт; и война в литературе и кино надоела (вспоминаешь детство — сплошное взятие Берлина); и ужасы современных странных войн донельзя заезжены в публицистике и СМИ; и отношение к армии сильно изменилось. Все так. Можно также добавить, что русская военная тема — это всегда тема патриотическая, а с патриотизмом нынче дело обстоит не однозначно. Кроме того, с толком писать о войне способен лишь сугубый реалист, а реализм сегодня не в почете... И еще множество мелких причин и причинок можно назвать. А заключить следующим рассуждением: всякому овощу свое время; овощей много; и, стало быть, если сегодня военная тема в литературе несколько подувяла — значит, цветет какая-то другая.

Однако стоит присмотреться, как становится заметно: нет, не цветет.

Мало ли хороших тем? Семейная есть тема, а также, допустим, тема любви. Присмотришься — не цветут. Даже развал Союза и перекройка страны — то есть событие, сравнимое по масштабу человеческих страстей именно с войной, — нет, и эта тема не цветет. Вот незадача!

Но не будем ужасаться. Давайте лучше задумаемся: а как, собственно говоря, они должны цвести? Что это такое — цветение темы? Десять романов в год? Двадцать? Пятьдесят? Или, быть может, один, но на все времена?

Думаю, что наши представления о том, как должна “расцветать” та или иная тема, несколько устарели. Они из той эпохи, когда отражение любой темы в литературе не представляло никакого труда. Только попроси. Многонациональный и неисчислимый писательский корпус был способен выдать на-гора сколько угодно текстов на какую хочешь тему. Это получалось отчасти по зову сердца, отчасти по иным причинам. Не было проблем. Дали прицел на войну — пошла война. Намекнули на семейные коллизии — стройными рядами двинулись романы осемье. Metallургов отразить? — отразим. Шахтеров, вахтеров, лифтеров? — пожалуйста. Моряков и летчиков? — у матросов нет вопросов.

Книг о войне было навалом — жалко, хорошие редко попадались. Даже, может быть, не чаще, чем сейчас...

В общем, не нужно торопиться с выводами.

Мы думаем, ее (темы) в литературе нет, а ведь на самом-то деле где-нибудь все же сидит человек — и пишет, пишет, пишет о войне. Пишет какую-то очень правдивую и очень горькую книгу.

Пишет.

Просто еще не дописал.

Александр Кабаков

Всеобщая воинская невинность

Прошу тех, кто сформулировал тему обсуждения, простить меня, но ответ на вопрос, почему война не присутствует или почти не присутствует в современной — кстати, не только русской — литературе, кажется мне очевидным. Впрочем, сначала отвечу вопросом на вопрос: а мир присутствует? Не тот мир, который world и стоявший, собственно, в толстовском названии, а “мир” в смысле “жизнь общества между войнами”? Разве есть теперь литература “о чем-то”? О любви? О смерти? О чем-то, что существует в реальном мире? О чем роман “Голубое сало”? О чем роман “Страшный суд”? О чем “романы” писателя Яркевича или даже наиболее внятное “Generation П”?

На этот вопрос, точнее, на все варианты вопроса “о чем” применительно к такого рода литературе есть только один ответ: ни о чем, кроме как о самой этой литературе. Русский литературный постмодерн, бессмысленный и беспощадный, невозможно представить привязанным к какой-либо теме — военной, производственной, любовной. Постмодернисты пишут, по сути дела, только о своем отношении к тексту, который пишут. Бесконечное пересмешничанье, тотальная пародия или, на худой конец, как у Пелевина, ироническая фантастика — какое это может иметь отношение к войне, хоть

к последней мировой, хоть к нынешним, хоть к будущим? Ни боевой, ни похоронный марш не может сыграть поп-группа — разве что шуты из “Ногу свело” поиздеваются или “Запрещенные барабанщики” споют “Убили негра”.

Но, заметят мне — и справедливо: не одними постмодернистами, слава Богу, жива еще наша литература. А такие исключения, как маканинский “Кавказский пленный”, как афганская тема Олега Ермакова, а... Все. Практически все — никакого “б” после “а” не следует. И тут возникает более интересный вопрос вслед недоумению: почему не пишут о войне самые модные? И другие ведь не пишут, вот в чем дело! Последний настоящий роман о последней настоящей войне написал Владимов. Дальше — тишина.

Я думаю, что ключевое, как теперь часто говорят, слово здесь — “настоящий”. “Генерал и его армия” — настоящий роман именно потому, мне кажется, что он посвящен *последней настоящей войне*. И не литература виновата в отсутствии у нее интереса к войнам последовавшим, вплоть до чеченских, а сама жизнь. Все войны после Великой если не сознание наше, то подсознание отказывается считать *настоящими*. Та война была безусловной — по целям, масштабу, отношению к ней участников. То была Война с большой буквы — и не только потому, что называлась Отечественной. Люди на той войне большею частью не отделяли себя от происходившего, и потому она стала не только экзистенциальным, но и, решусь сказать, духовно-религиозным опытом и для простых участников, и для писателей, взявших ее темой или хотя бы фоном своих сочинений. В той войне все участвовали и все несли вину за нее.

Но идет время, и вторая мировая становится материалом только для исторических романов, как гражданская, крымская или наполеоновская. Ничего не поделаешь, современники великой бойни прошедшего века сами уже почти прошедший век.

А все последовавшие за ней уже были как бы не совсем реальными. Где-то на краю земли, в Корее, наступали с севера коммунисты, а американцы сопротивлялись... Где-то во вьетнамских джунглях повторялось то же самое... Какой-то Афганистан... И даже Чечня — тоже не совсем реальная. Никто не стоял под Москвой и Питером, не горел Киев, не было *Сталинграда* — в обобщенном смысле, как символа альтернативы “жить или не жить” стране. Все, если можно так выразиться, послевоенные войны воспринимались как несчастья, даже катастрофы, массовые убийства и калечение людей, как преступления, как страшное зло — но не как *Войны*. Это были не наши войны, и мы не хотим и, как нам кажется, не можем за них отвечать.

К тому же ввязалось телевидение. Начиная с Gulf War, все вооруженные конфликты, хотим мы этого или не хотим, представляют собой прежде всего телевизионное шоу, страшную и отвратительную картинку на домашнем экране. Война потеряла сакральность и стала частью повседневной сводки новостей, среди которых она не всегда даже самая важная.

Совершенно естественно, что такая война превратилась в тему литературы массовой, и бесконечные афганцы “по прозвищу Зверь” в плохом глянце посыпались на книжные лотки. Скоро пойдут — да уже идут — “чеченцы”... И нельзя надеяться, что после телевизионных репортажей и малограмотных боевиков какой-нибудь новый Толстой возьмется за эпопею. Толстые сейчас подолгу топчутся вокруг детства, отрочества и юности, а войны, сотрясающие мир, все меньше заставляют думать о судьбе человека и все больше — о его анатомическом устройстве.

И тут я возвращаюсь к началу, чтобы поспорить с самим собой: пожалуй, именно постмодернисты теперь готовы к военной теме! Такая война, какую мы видим в вечерних телевизионных новостях, на которую политикам и международным наблюдателям устраивают экскурсии, война, от начала до конца записываемая на видеопленку, — эта война вполне пригодна для современного романа. Что-нибудь про виртуальные победоносные сражения, которые изготавливает тайный, вскормленный в специальной лаборатории консервированными мозгами великих ученых, гений компьютерной графики, чтобы повысить рейтинг политического вождя... Да разве мы уверены, что сейчас на самом деле все не обстоит именно так? Вот и вернется постмодерн в лоно сурового критического реализма.

Михаил Кураев

Как-то кинорежиссер Витаутас Жалакявичус рассказал о том, как он показывал свою картину “Никто не хотел умирать” в Москве в посольстве США.

После просмотра к нему подошла жена посла, с восторгом похвалила картину, произнесла множество квалифицированных комплиментов, а потом доверительно и чуть смущенно спросила: “Простите, я только одного не поняла, где же все-таки было золото?”

Вот пример современного, в образец нам выставляемого сознания: если уж воевать, стрелять, убивать, так за хорошие деньги. Чем больше денег, тем больше пальбы. Ради устранения конкурента посередине Европы можно под благовидным предлогом и целое государство обратить в руины, например, Югославию...

Почему молодые и сравнительно молодые сочинители не интересуются Великой Отечественной войной?

Тема “не клевая”.

“А действительно, где золото? За что они там четыре года, или сколько там лет, кувыркались? Советский Союз защищали? С фашизмом сражались? Европу освобождали? Ветошь! Старо. Не надо песен. Нам один гнедой бобер все разъяснил. Это кремлевские себя спасали. А лохов гнали на пулемет...”

Можно себе представить, как вывернуты и выполосканы мозги молодых и сравнительно молодых людей, кому история нашего Отечества преподносится оболганной и пропагандистски препарированной на новейший лад.

Отсутствие у молодых сочинений о Великой Отечественной — явление в высшей степени примечательное.

Казалось бы, именно сейчас, когда еще живы участники событий, когда наконец-то можно найти доступ к любым материалам, как с советской, так и с немецкой стороны, когда над нами нет идеологического пресса, все благоприятствует и располагает понять во всей возможной полноте и природу подвига советского народа, и природу трагедии, выпавшей на его долю.

Быть может, дело еще и в том, что отработанная на разных уровнях тема требует все большего таланта, большей пронизательности, большей мудрости...

Из новых взглядов на события великой войны меня ошеломляет нет-нет да и звучащая мысль о том, что Ленинград не стоит тех жертв, которыми была оплачена его несокрушимость.

Хотя высказывают эту идейку люди пожилые, но слышится в ней отзвук мысли “новейшей идеологии”, которую еще Достоевский назвал идеологией “эпохи гривенников”.

Попробуем довериться этой “логике”.

Ленинград не стоит полутора миллионов жертв! А сколько? И сколько в этом случае стоит Брест? А Гомель? А Смоленск?

В задаче спрашивается, сколько можно положить жизней за деревню Овсянку, если за деревню Бородино положили почти шестьдесят тысяч, деревню не удержали да отдали еще в придачу и Москву?

А что касается Ленинграда, то от арифметических упражнений нас избавляет директива самого А. Гитлера, предписывавшая уничтожение и города, и горожан.

Хотелось бы ошибиться, но так называемое “новое сознание”, навязываемые “новые ценности”, многолетнее и последовательное, с одной стороны, монополизирование, а с другой — третирирование патриотизма, отсутствие в самоназываемом демократическом государстве важнейшей идеологической точки отсчета — понятия НАРОД, — все это и еще многое делает, наверное, Великую Отечественную фрагментом истории уже неведомой страны, невесть куда исчезнувшего народа.

Однако.

...Несколько дней назад встречался со школьниками самой обычной питерской школы. Старшеклассники с дрожью в голосе читали особенно им глянувшиеся отрывки из моей “праздничной повести” “Блок-ада”. В зале, где проходила встреча, на стенах висели листы с цитатами из “Блок-ада”... Встреча шла два с половиной часа без перерыва, пока не кончился в зале кислород.

Если они, пятнадцатилетние, в трагическом и героическом Советском Союзе в сознательную пору не жившие, способны читать, плакать, искать встречи, разговаривать, благодарить — значит, народ, ради которого умирали и под Харьковом, и под Москвой, и под Мурманском, жив, сколько бы его ни отменяли, ни хоронили, ни объявляли случайным историческим фантомом.

И последнее.

После встречи на память мне подарили блокадный дневник ленинградки 1941—1942 годов...

Я прочитал и ужаснулся: как мало, оказывается, я знаю о ленинградцах и о блокаде.

Виктор Соснора

Война — слишком интимное переживание для тех, кто воевал. Я, например, прошел с армией Рокоссовского до Франкфурта-на-Майне и закончил войну в 9 лет. С тех пор несколько раз в своей жизни я пытался написать о войне. Но каждый раз, когда я

пытался восстановить в душе все тогдашнее, меня охватывал такой ужас... А ведь дети не боятся ничего. Что же говорить о тех, кто пережил это, будучи взрослым. Это невыносимо восстановить и пережить снова и об этом написать.

Нет сейчас правдивых книг о той войне, фактически ни одной. Выше человеческих сил опять погрузиться во все это полностью. А для тех, кто не воевал — писать по чужому опыту вообще невозможно.

Антон Уткин

На мой взгляд, во всех вопросах, которые вы наметили, уже содержатся и ответы. Все моменты, на которые вы указали, в совокупности, видимо, и разъясняют положение вещей.

С ужасом мы осознали, — я говорю о своем поколении, — что война, которая на протяжении долгих лет представлялась чем-то далеким, каким-то пережитком, до сих пор не избыта и, как это ни чудовищно, продолжает оставаться одной из составляющих жизни людей. Раньше мне казалось, что сама цивилизация делает войну маловозможной, что простые цифры, которыми обозначали прожитые мною десятилетия, страхуют от войн, — в нашей стране, во всяком случае. Оказалось, что война по-прежнему собирает свое страшное “пожилое” с людских сообществ, а закономерности, которыми поныне определяется жизнь этих сообществ, остаются теми самыми, которые смутно различали историки давних, причинно-кровавых времен.

Когда мы говорим о классической русской литературе, мы отдаем себе отчет, что писатели, скажем, XIX столетия, затрагивавшие военную тему, сами имели этот опыт. Значительная часть дворянства отдавала дань армии, а большинство писателей вышли именно из дворянской среды. Более того, служить в армии в те времена не считалось чем-то предосудительным, к тому же и войны шли одна за одной.

С другой стороны, нельзя сказать, чтобы военная тема была самой популярной в русской литературе даже в те времена. Какой-нибудь поневоле милитаризованный персонаж, разгуливающий по Петербургу в военной фуражке, — это еще далеко не капитан Тушин, а Вронский в щегольской шинели, хотя и едет на войну после гибели Анны, — это все еще не Андрей Болконский на Бородинском поле. Военная тема была вписана в полотно большего масштаба. Разве “Герой нашего времени” — это роман о войне? Ничуть не бывало. Войне в строгом смысле посвящены лишь отдельные произведения, и их, кажется, не так уж много. Например, несколько рассказов Всеволода Гаршина — “Из воспоминаний рядового Иванова”, “Четыре дня”, “Севастопольские рассказы” Льва Толстого. Но и название “Война и мир” не должно вводить в заблуждение.

В последнее десятилетие сложилась прямо противоположная ситуация. Общество (прежде всего его образованная часть) воспринимает армию в целом как антилиберальный и антиэстетичный мир, к тому же вполне нереальный. Можно сказать и так, что люди воевавшие и люди, способные об этом ярко написать, как правило, говорят на разных языках. Крайне редко пересекаются две эти области жизни и, скорее всего, сферы мировоззрений.

Как только возникнет удачное сочетание личного военного опыта и незаурядного литературного таланта, военная тема, без сомнения, обретет свои утраченные права. Потому что, как вы справедливо заметили, “из жизни военная тема исчезнет не скоро”.

Сомневаюсь, правда, чтобы эта тема нашла сочувствие в околосредствительных кругах. Серьезно изменился взгляд на государство. Война постепенно перестает быть делом всего общества, оставаясь делом только одной его части. Отмена всеобщей воинской обязанности завершит этот процесс. (Никакого оценочного оттенка не стоит здесь усматривать: такова нынешняя тенденция.)

Есть еще одно обстоятельство. Дело в том, что сейчас любой телевизионный сюжет, видеорепортаж, даже не слишком талантливо сделанный, уже является своего рода маленьким произведением искусства если не по форме, то по содержанию. Такие сюжеты в своем большинстве вполне сопоставимы с рассказами и в известном смысле составляют конкуренцию любой словесности. Возможно, в них содержится та, условно говоря, “правда”, которая испокон оставалась прерогативой литературы.

Кто-то может, конечно, возразить, что это как раз и поможет создать настоящее произведение искусства человеку, не имеющему личного военного опыта, но талантливому. Но мне все-таки кажется, что писать о том, чего сам не видел, наверное, не стоит.

В строгом смысле, проблема, которую Вы поставили, не является какой-то принадлежностью исключительно нашего времени и нашей страны. “Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои, роком ведомый беглец, к берегам приплыл Лавинийским...” — такими словами начинается “Энеида” (в русском переводе С.Ошерова). Через полсотни лет после создания этой поэмы некий безвестный завсегдатай одного из помпейских кабачков нацарапал на стене следующий парадокс: “Валяльщик шерсти пою и Сову, а не битвы и мужа”. Таким образом, в период расцвета Римской империи слегка изменившееся гражданское сознание вступило в противоречие с сознанием древнего республиканского патриотизма, в основе которого лежала Война с большой буквы. Приверженцы бутылки хорошо знали свои права.

А до конца было еще ой как далеко.

Опубликовано в журнале: [Знамя 2000, 5](http://magazines.russ.ru/znamia/2000/5/konf.html) (<http://magazines.russ.ru/znamia/2000/5/konf.html>)